

УДК 378.4(571.16)“1920/1929”
DOI: 10.17223/19988613/56/7

А.О. Степнов

«ОХОТА НА ВЕДЬМ» В ТОМСКОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ МИКРОСОЦИУМЕ: К ПРОБЛЕМЕ МЕНТАЛЬНОГО БЫТИЯ РУССКОЙ ПРОФЕССУРЫ В УСЛОВИЯХ ДЕФОРМАЦИИ КЛАССОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В 1920-е гг.

На материалах архивной документации, периодической печати, источников личного происхождения рассматривается процесс «мутации» жизненного мира «старой» профессуры в период реализации красной антиутопии в 1920-е гг. Автор обращается к явлению радикализации бытия как к механизму генезиса «ментальной репрессии» в сообществе. Реализация ее проходила по принципу атаки на фундаментальные опоры классовой идентичности в профессорской корпорации: религиозный базис, патриархальный стиль жизни, моральную безопасность и вещную независимость.

Ключевые слова: научное сообщество; дискурс обыденности; русская профессура; классовая идентичность; 1920-е гг.

Вечером 10 мая 1928 г. в большой аудитории факультетских клиник Томского университета проходило чествование профессора М.Г. Курлова. Мероприятие было приурочено к 44-летнему юбилею научно-педагогической и врачебной деятельности старейшего в Сибири ученого-терапевта, которого коллеги не без гордости, столь свойственной стихии малого патриотизма, называли отцом сибирской бальнеологии.

Основатель сибирской школы терапевтов, пионер в деле обследования курортных мест азиатской части России, автор трудов по классификации минеральных источников края, в том числе книги «Бальнеология Сибири» (1928), ставшей настольной для врачей нескольких поколений, – профессор Курлов в своем ответном слове на приветственные телеграммы, присланные его учениками из разных городов страны, сказал, что «все пожелания его после многих лет работы в области сибирской бальнеологии сводятся к основанию при томском медфаке самостоятельной кафедры бальнеологии». «Научные работы сибирских бальнеологов и естественные целебные богатства края вполне заслуживают этой кафедры» [1. 1928. 10 мая], – отмечалось тогда на страницах местной газеты «Красное знамя».

Весь медицинский Томск в тот день готов был засвидетельствовать свое почтение перед ученым. Патриарху сибирской медицины был поднесен сборник статей по бальнеологии, составленный из трудов его учеников. Данный не лишенный символизма акт содержал в себе послание: дело всей жизни продолжается.

Выходец из дворянской среды, представитель «старой» профессуры, М.Г. Курлов и в годы советской власти сохранил свой авторитет в академической среде. В 1924 г. 40-летний юбилей его деятельности, празднование которого совпало с 30-летним юбилеем научной и педагогической деятельности другого профессора Томского университета В.В. Сапожникова, стал событием в жизни «Сибирского Оксфорда», достойным внимания явлением «на третьем фронте» молодого государства [1. 1924. 6 марта]. От Главного курортного управления

тогда пришло поздравительное письмо за подписью наркома здравоохранения и начальника управления Семашко и Могилевича (заместителя начальника Главного курортного управления). В нем были такие слова: «Главное курортное управление желает Михаилу Георгиевичу еще долго и долго продолжать его научную медицинскую работу» [2. Л. 53 об.].

В 1925 г. очередной выпуск «Известий Томского университета» был посвящен М.Г. Курлову [1. 1925. 22 июля]. Признание профессора со стороны сообщества нашло свое отражение и в октябре 1927 г., когда специальная комиссия при окрбюро секции научных работников Томска выдвинула его, наряду с 7-ю другими старейшими профессорами города, на соискание звания «Герой труда» [Там же. 1927. 25 окт.].

При всем этом было бы преждевременно делать оптимистические выводы относительно той роли, которая была уготована «новой», партийной культурой для «старых», «отживающих свой век» профессоров. То признание, которое находило выражение в публичной сфере, в рассматриваемый период имело свою мрачную тень. Под ней скрывалось не просто естественное при столкновении разных социально-психологических культур недоверие, но открытая враждебность, питавшаяся нормами партийной этики «без каких-либо авторитетов» [3. С. 144] и противопоставленная этике русского профессора, в силу исторического слома оказавшегося гостем в собственном доме.

«В настоящее время Курлов ветеран, предельный возраст (65 лет) уже давно кончился», – такова запись в характеристике профессора, составленной партийкой ТГУ и хронологически приблизительно совпадающей с юбилеем его деятельности в 1928 г. Лексика и тональность данных документов подчас не оставляют шанса питать иллюзии относительно манер и намерений их составителей. Данные характеристики лишь отчасти проясняют тот климат, который установился в старейшем научно-просветительском центре Северной Азии. «Партийная студенческая фракция вузовского совеща-

ния, — указывалось в характеристике, — ходатайствует перед фракцией Главпрофобра об отчислении профессора Курлова, а на его должность объявить конкурс... Можно сказать, что источник знаний для студентов в лице профессора Курлова иссяк». И далее: «Профессор одряхлел» [4. Л. 90 об.—91].

Следует отметить, что материальному положению, социальным аспектам существования, взаимоотношениям томской профессуры с властью в период 1920-х гг. посвящены главы монографии «Интеллигенция Сибири в первой трети XX в.: статус и корпоративные ценности», написанной коллективом новосибирских историков, а также отдельные работы С.А. Красильникова, Д.А. Александрова и др. (см.: [5–7] и т.д.). Характеристика профессорско-преподавательского корпуса Томского университета, социальный состав, материальное и социальное положение представителей корпорации профессоров г. Томска нашли отражение в монографии и кандидатской диссертации А.В. Литвинова [8, 9].

В связи с избранной тематикой нельзя обойти вниманием 1-й и 2-й тома фундаментального биографического словаря «Профессора Томского университета», изданного под редакцией профессора С.Ф. Фоминых [10, 11]. В данных работах содержатся биографии профессоров, работавших в университете в 1920-е гг.

Панорамное исследование отечественного научного сообщества, качественных сдвигов в дискурсе взаимоотношений властных структур и научной интеллигенции представлено в трудах профессора Э.И. Колчинского [12].

Известная сложность эпохи становления советской власти, инфильтрация новых ценностей в моральную ткань корпорации ученых определяет то временами могущее показаться излишним внимание к радикальным сторонам жизненного мира ученых. В настоящей статье рассматриваемая тенденция, быть может, находит крайнее выражение. Обозначенная в заголовке проблема заставляет нас заходить на ту территорию, которая при выборе иного фокуса подчас оказывается закрытой.

Классовая идентичность традиционно выражает не столько реальное положение вещей, сколько тот отпечаток, который оно накладывает на сознание человека. Корпоративный мир, ментальное состояние жителя эпохи экстремального исторического излома определяют границы территории, ныне погруженной в лету истории. И только карта этой территории, восстановленная по обрывкам прошлого, может дать нам хотя бы отдаленно коснувшееся истины знание о ментальном бытии человека, погруженного во тьму и, тем не менее, сохранившего «молчаливую» память об ушедшем мире.

Томская профессура, которая на заре советской эпохи сохраняла за собой бэкграунд исторического прошлого академического сообщества г. Томска, его традиции и классовый дух; которая, равно как и в целом профессорская корпорация дореволюционной России, определяла автономию в разряд высших ценно-

стей, являет собой яркий пример столкновения двух культур. Первые месяцы после восстановления советской власти в Томске в декабре 1919 г. устами профессора А.П. Пospelова были названы «временем бессовестия» [13. Л. 8 об.].

Конечно же, было бы преувеличением связывать радикализацию повседневности профессуры лишь только с действиями и бездействием большевиков — она уходит корнями в события Первой мировой войны, Русской революции 1917 г., дальнейшей гражданской междоусобицы и едва найдет обвиняемого в образе определенной социальной силы. Вместе с тем именно советский период открывает иную страницу в истории русской профессуры, связанной с ее новой локализацией в сетке социальных взаимоотношений.

Новое время принесло трансформацию ключевых доминант повседневности: представлений о частном пространстве, взаимоотношений с миром вещей, внутренней иерархии корпорации. Бытовой шок стал органичным атрибутом социального спектакля в условиях политики диктатуры пролетариата и, вне всякого сомнения, заставлял вспоминать о минувшей, пускай и далекой от идеала, жизни как о «потерянном рае».

И жизнь эта действительно могла обеспечить главное: отсутствие автономии на уровне университетов компенсировалось непрерываемой автономией частной жизни — несвободна от власти была корпорация, но не русский профессор. Принадлежность к университетскому сообществу имела своим следствием высокий социальный статус. Так, после многолетней службы большинство профессоров получали чин статского или действительного статского советника (соответственно, V и IV чины по «Табели о рангах»). «Генералы» академического мира, таким образом, даже не имея потомственного дворянства, могли приобрести право на него за счет своей научно-педагогической деятельности. Они же нередко награждались орденами Российской империи [3. С. 111].

Служба в Томском университете имела свою специфику. Определялась она внутренней противоречивостью этого места: с одной стороны, отдаленного и провинциального, щедрого на суровый климат, а с другой — как полной романтики и очарования *terra incognita*, перспективной, как писал профессор И.А. Малиновский, «благодарной и плодотворной культурной работы на почти девственной, но богатейшей, плодороднейшей почве» [14. С. 340].

Все же неблагоприятные условия, которые нельзя не заметить при объективном подходе, задавали привилегированное положение томских профессоров, которые имели полutorное содержание в сравнении с профессорами из университетов Европейской России (4 500 руб. в год для ординарных профессоров). Кроме того, по истечении 5 и 10 лет службы им были положены прибавки в размере, соответственно, 20 и 40% от жалованья. Пенсия за 25 лет службы (20 с сибирской прибавкой 5 лет) назначалась в размере жалованья для

ординарного профессора, а за 30 лет (25 лет с сибирской прибавкой) – в размере полного содержания профессоров. Нельзя не заметить, что основной заработок профессоров дополнялся гонорарами от сбора за лекции со студентов, за преподавание по совместительству (кроме Императорского Томского университета и Томского технологического института, в гимназиях и училищах), а также за частную юридическую и медицинскую практику [10. С. 12–13].

Резюмируя, мы можем отметить: не будет преувеличением сказать, что профессора дореволюционной России, в чем и Томск не стал исключением, были более чем состоятельными людьми. Л.Н. Березнеговская, дочь профессора-медика Томского университета Н.И. Березнеговского, вспоминала, что в дореволюционную эру «все профессора в Томске покупали дома или красивые особняки – Тихов, Мыш, Курлов, Горизонтов и другие» [15. С. 143].

Подчеркивается при этом, что роль профессорско-преподавательского корпуса российской профессуры в общественно-политической жизни была существенно ограничена [3. С. 113]. Со всем тем русская профессура той эпохи – это бесспорно элитарная часть российского общества. И, быть может, получение автономии в 1917 г. как недостающего элемента в богатой социальной галерее корпорации во многом объясняет, что советы томских вузов поддержали Февральскую революцию и отказали в своей приверженности революции Октябрьской [16. 1917. 9 дек.].

Именно эта жизнь перешла в разряд прошедшего времени в 1920-е гг. Материальная независимость и моральный авторитет русского профессора стали предметом исторического исследования и ностальгического воспоминания. «Настроение томской профессуры – оплота и вдохновителя колчаковщины – подавленное и растерянное», – отмечалось в докладной записке Коллеги по управлению вузами г. Томска от 5 июля 1920 г. [17. С. 46].

Подверглась трансгрессии и система взаимоотношений ментора и ученика – профессора и студента. Как известно, по декрету СНК РСФСР «О высших учебных заведениях РСФСР (Положение)» от 2 сентября 1921 г., фактически выполнявшего функцию устава, в советы вузов наряду с профессорами стали входить не только преподаватели и научные сотрудники, а также представители местных губисполкомов, наркомата и т.д., но и студенты. Переформатирование структуры управления вузами шло в русле с ментальной революцией в сознании студента, с разрушением привычной до той поры субординацией в его взаимоотношениях с профессурой. Свою роль здесь сыграл и эпатажный шаг новой власти – пролетаризация студенчества.

В этой связи в годы действия данного законодательства имел место целый ряд любопытнейших эпизодов. Так, 27 февраля 1922 г. в правление Томского университета поступило два заявления студента и, по совместительству, секретаря правления физико-

математического факультета С.П. Волкова о том, что «в настоящее время он испытывает умаление своих прав» [18. Л. 40]. В одном из них Волков поведал, как 2 февраля в канцелярии факультета преподаватель Н.Н. Горячев потребовал от него подписать несколько документов. За отказом сделать это со ссылкой на то, что рассматриваемые в них вопросы не входят в ведение факультетского правления, последовало состоявшееся после очередного заседания «в очень деликатной форме» уведомление Волкова о том, что он подаст об этом заявление в правление университета.

«Он вскипел, – писал Волков о реакции на это упомянутого уже А.П. Поспелова – декана физико-математического факультета, – вскочил со стула и нанес мне оскорбление, заявив, что я пользуюсь своей принадлежностью к “господствующей партии” и предъявляю к нему неосновательные и невозможные требования, что я не имею права на это (это – право на участие в совещании профессоров и преподавателей), тем более что, по его собственному выражению, он является лицом, законно избранным, а что я таковым не являюсь». По словам Волкова, профессор Поспелов увенчал свою отповедь тем, что взял хранившуюся у студента печать факультета и «заявил, что он как декан за все отвечает и потому печать берет к себе на хранение» [Там же. Л. 58 об.].

Во втором заявлении студент-секретарь С.П. Волков посетовал на то, что не был приглашен на частное заседание профессоров и преподавателей факультета, состоявшееся 6 февраля того же года в кабинете при лаборатории неорганической химии. Вовремя узнав о заседании, Волков поспешил отметить его своим присутствием. Однако не встретил благожелательного приема со стороны декана. «Поспелов, – отмечал студент, – делал какой-то доклад собравшимся... Декан, видя мое желание остаться на этом заседании, обратился ко мне с вопросом: “Больше ничего?” и проявил определенное желание, чтобы я ушел. Я помедлил несколько секунд и, когда увидел его паузу и явное ожидание моего ухода, ушел» [Там же. Л. 60].

Стоит ли добавлять, что бывший действительный статский советник А.П. Поспелов почел за оскорбление «донос» (позже Поспелов подчеркивал, что употребил это слово в смысле «донесение») со стороны студента. «Не будучи в силах продолжать спокойную работу в должности декана физико-математического факультета, – указал профессор в своем заявлении в правление университета от 1 марта 1922 г., – совместно с секретарем факультета студентом Волковым, после поданных им и заслушанных правлением университета... после доносов на меня, – прошу с сего дня считать меня освобожденным от обязанностей декана физико-математического факультета» [Там же. Л. 57]. Правление приняло прошение А.П. Поспелова. Впрочем, был снят с должности и студент Волков.

4 марта того же года была отменена лекция по истории музыки профессора университета Н.А. Алексан-

дрова, ученого-химика. Актовый зал, где должна была состояться лекция, оказался занят под репетицию для вечера «в пользу недостаточных студентов-медиков». Зал был занят без предварительного согласования с Правлением и без предупреждения профессора Александрова. Члены Правления тогда вынуждены были принять «меры к тому, чтобы двери актового зала впредь были закрыты» [18. 43–43 об.].

Не вовсе безынтересен случай, имевший место 10 июля 1922 г., когда после добровольной отставки П.М. Богаевского В.Д. Кузнецов принимал временные обязанности ректора. Последний в своей вступительной речи произнес такие слова: «Я испытываю всякий раз сильную боль, когда делаются попытки лишить меня самостоятельности и заставить меня идти по тому пути, который не соответствует моим взглядам. Я считаю долгом предупредить, что я могу охотно работать, пока на меня не производится давления, но сейчас же сложу обязанности, как только увижу, что лишился самостоятельности». В избранном контексте исследования подобные заявления выглядят симптоматично. Тем более, что ставший профессором уже в советское время В.Д. Кузнецов солидаризировался со старой профессурой и позиционировал себя как представителя «старой» же корпорации. Отмечается, что, несмотря не имевшуюся возможность автоматически получить звание профессора по декрету СНК 1918 г., В.Д. Кузнецов предпочел принять его лишь после защиты диссертации на звание ученого специалиста в 1922 г. [3. С. 136]. Данное положение не лишено оснований, что придает особое звучание его первым словам в статусе и.о. ректора. Симпатична и реплика студента В.П. Мальгина, который, комментируя «указания профессора Кузнецова на какие-то давления извне», заметил, что «деловая линия поведения как отдельных должностных лиц, так и коллегиальных органов управления определяется существующими особенностями политического строя РСФСР, осуществившей принцип диктатуры пролетариата» [18. 116 об.]. Данное заявление осталось без ответа и комментариев.

Таким образом дали о себе знать плоды политизации академической жизни. Очередной прецедент ценностного столкновения состоялся с наступлением нового 1922/23 учебного года, когда 29 сентября первокурсники отправились на встречу с «новой высшей школой». Приветствовал студентов-медиков тогда профессор С.В. Лобанов. Детали этой встречи вскоре стали известны широкой публике, когда пожелавшая остаться анонимной абитуриентка опубликовала в газете заметку с красноречивым названием «Программная речь старого профессора». В ней в весьма тенденциозном свете была изложена речь профессора Лобанова о старой школе, которую «никто не разорял», о старых студентах, которые «слушали профессоров и относились к ним с полным уважением и доверием», об «ореоле старика-профессора», который «сильно по-блек», о профессоре, «теряющем все больше и больше

почву под своими старческими ногами». Сравнение же с современной, «революционной» высшей школой, студенчеством, статусом профессора явно было не в пользу последних.

«Мы, новые ваши слушатели, профессор, – обращалась, пользуясь предоставленной трибуной, анонимная абитуриентка, – не рекомендовали бы вам выступать со своими речами программными. Не надо забывать того, что не за горами время, когда мы будем иметь и свою красную профессуру». И далее: «Мы этого ждем, мы к этому идем, и это, без сомнения, будет» [1. 1922. 3 окт.].

Филиппики в адрес профессоров как «философствующих дегенератов», представление старой школы как проводника «философии вымирания», провозглашения победы «Интернационала» над «Гаудеамусом», обличение «лже-пророков» – таковы опорные точки дискурса прессы времен становления этоса, переливавшегося всеми оттенками красного.

Даже если профессор Лобанов действительно произнес фразу о напаках в прессе на профессуру, то был он абсолютно прав. То, что традиционно принято называть «травлей», стало обыденной практикой газетных публикаций того времени, и заметка анонимной абитуриентки становится лишь частным случаем общего явления. К концу рассматриваемого десятилетия студенчество в лице самых активных своих представителей взяло курс на «непримиримую борьбу с протаскиванием чуждой идеологии» в вузах. Насмешки стала вызывать «критикобоязнь», что представлялось как «трусливость перед профессорско-преподавательским составом». И лишь недостаточная бдительность студентов, как отмечалось в резолюции студенческой конференции г. Томска 1928 г., объясняла продолжение работы в вузах профессоров И.Н. Бутакова, М.Н. Иванова, П.С. Тартаковского [19. С. 92].

Отметим, что в дореволюционной высшей школе выступление студента (или абитуриента) в прессе не только с оскорблением, но и с некорректным замечанием в адрес профессора было явлением экстраординарным и становилось предметом внимания как ректора, так и попечителя учебного округа. Однако этос старой профессуры, равно как и элементарное чувство достоинства, ответ на подобные выступления делал явлением невозможным. Скажем, что в 1902 г. профессор Императорского Томского университет М.А. Рейснер не стал отвечать студенту Чадову, когда последний опубликовал заметку о нем в местной газете «Сибирская жизнь» [20]. Промолчать предпочел и профессор Лобанов.

В молчании о той эре погружена вся русская профессура. Мы не найдем воспоминаний или дневниковых записей томских профессоров, где было бы отражено их моральное состояние в эпоху красной антиутопии: кто-то умер, не успев написать прощальную исповедь, кто-то утратил интерес к прошлому. Редкое исключение составляют мемуары В.Д. Кузнецова «Мой путь в науке», написанные, однако, на позднем этапе его жизни, когда прошли годы, а сам профессор успел

стать членом ВКП(б). «В моем формировании как ученого и администратора, – вспоминал он, – громадную роль сыграли первые годы советской власти в Томске. Перестраивалась вся жизнь. Старое, гнилое рушилось, новое, здоровое создавалось, но создавалось трудно, в больших муках. Не было готовых рецептов на все случаи жизни. Эти рецепты нужно было создавать... Я мечтал о перестройке жизни и прежде всего сам хотел быть честным и правдивым, но я не знал, как перестроить жизнь» [21. Л. 145].

Едва ли слова почтенного академика В.Д. Кузнецова могут дать окончательный ответ на поставленный в настоящей статье вопрос. Отметим главное: реконструкция ментального бытия русской профессуры постреволюционной эпохи происходит при безмолвии последних. Нашей же привилегией остается чтение ненаписанной книги, создание карты той территории, которой нет.

Заметим, что материальный мир томского профессора на протяжении 1920-х гг. менялся. Однако существовали константы повседневности, которые определяли атмосферу и коллективную психологию ученого. Это, к примеру, острая нехватка продуктов питания и вещей. То, что раньше считалось само собой разумеющимся, теперь стало недоступным. Отсутствовало элементарное: бумага, чернила, в библиотеки вузов города не поступала новая литература. По замечанию, сделанному в 1920 г. В.Н. Саввиным, «это крайне вредно отражалось на продуктивности научной работы» [13. Л. 2 об.]. Сказывалась и оторванность от центров и заграницы.

Но и за стенами университета и института наблюдалась не менее пессимистическая картина. Жизненный потенциал томского профессора сузился до рамок фактической борьбы за выживание: за обувь и одежду, за дрова для отопления, наконец, за академические пайки, которые до наступления НЭПа были вожаделенной добычей для ученых. Обеды им одно время отпускались в комсобеде [22. Л. 58]. На заседании правления Томского университета, состоявшемся 16 октября 1921 г., ректор П.М. Богаевский упомянул о случаях голодания членов семейств некоторых профессоров. «Равным образом, – добавлял ректор, – могут повториться случаи вынужденного обстоятельствами непосещения университета преподавателями из-за отсутствия обуви и теплой одежды» [13. Л. 19]. В.Д. Кузнецов вспоминал: «Несмотря на то, что я получал как управляющий и как ученый работник, мы с женой (покойной) буквально голодали» [21. Л. 142].

В апреле следующего года профессор-филолог Томского университета А.Д. Григорьев обратился в СибОНО с просьбой о «пиджачной паре», «пальто и обуви» для себя, жены и детей. Профессор просил 10 пудов муки и индивидуальный паек. «В противном случае, – писал он, – я должен искать какого-нибудь выхода из критического положения, чтобы я и семья не погибли с голоду» (цит. по: [3. С. 138]). Ранее, в марте месяце, профессор Григорьев ходатайствовал перед правлением университета «об оказании ему поддержки

выдачей пособия из пайкового фонда» в связи с затянувшейся болезнью ноги «вследствие плохого питания» [18. Л. 50 об.]. В схожей ситуации, по всей видимости, оказался и профессор В.Ф. Глушков, просивший в ноябре 1921 г. выдать ему в счет жалованья 250 тыс. руб. на покупку муки [22. Л. 108]. Бесспорно, что подобные прошения со стороны профессоров, особенно часто подаваемые в начале 1920-х гг., стали новым явлением в их бытовом дискурсе.

Одежда же была важнейшим элементом жизненного стиля «старого» профессора, контрастно выделяя его на фоне новой реальности. В.Д. Кузнецов сохранил в своей памяти эпизод, когда в начале 1920-х гг. он присутствовал на заседании партячейки университета, которое проходило в студенческом общежитии по ул. Белинского. Профессор, явившийся «в белом костюме, белых ботинках и шляпе канотье» почувствовал себя «очень неловко среди нарочито просто одетых членов ячейки» [21. Л. 153].

В практику обыденности вошли уплотнения и реквизиции. Под удар здесь попадали и самые заслуженные профессора. Так, в начале 1920-х гг. представители местного коммунотдела пытались выселить из собственной квартиры профессора Томского университета, первого математика Сибири Ф.Э. Молина – «отрепленного от жизни» ученого, как вспоминал В.Д. Кузнецов [21. Л. 150–151]. Только своевременное вмешательство ректора не позволило реализовать это намерение [22. Л. 88]. Крах представлений о неприкосновенности частного жилища усиливался и девальвацией его безопасности – девальвацией безопасности жизни в целом. В ночь на 20 мая 1922 г. в Ботаническом саду университета сгорел двухэтажный полукаменный дом, в котором, в частности, проживали профессора В.В. Сапожников и П.Н. Крылов. Причина возгорания осталась «неизвестной» [18. Л. 93–93 об.].

Кризис внешний опосредовал кризис ментальный – тот кризис, который, как выразился П.М. Богаевский, «повидимому, принимает затяжной характер» [22. Л. 8 об.]. В университете участились грабежи и разбой. Из кабинета сравнительной анатомии, заведующим которого состоял профессор Г.Э. Иоганзен, похищались спирт, керосин, платки, личные вещи ученого. Особенно болезненно сказывались кражи из университетского продовольственного склада. Совершались они в том числе и с участием хозяйственного персонала вуза.

В мае 1922 г. С.В. Лобанов, исполнявший тогда обязанности председателя хозяйственного совета факультетских клиник, сообщил в правление о краже из коммунальной прачечной 611 штук клинического белья и 300 штук белья госпитальных клиник [18. Л. 95]. То и дело обнаруживались «дефекты в расходовании и хранении спирта». В зданиях университета и технологического института разбивали окна, похищали лампочки, документы, оборудование.

Председатель библиотечной комиссии университета профессор М.Г. Курлов, главный библиотекарь

А.И. Милютин неоднократно заявляли об обнаружении испорченных замков, следов взлома, о краже стульев, часов, мелких предметов и т.д. Кстати, и здесь нередко были задействованы служащие университета. Была разграблена и разгромлена бывшая водокачка на территории Ботанического сада. В 1922 г. подверглась разгрому и сейсмическая станция. В ней оказалась выбита дверь, похищены часы, регистрирующий аппарат, аккумуляторы.

Хищения – как в помещениях университета, так и в университетской усадьбе – все более учащались. В журналах заседаний правления Томского университета отмечалось, что они не только «наносит материальный ущерб», но и «деморализуют» служащих вуза [22. Л. 128]. С 1922 г. ворота университета в вечернее время стали запирают на замок, сторожам вменялось в обязанность задерживать всех подозрительных лиц, на территории Университетской рощи стали вывешиваться объявления о часах посещения университета и его усадьбы [18. Л. 1 об.]. С просьбой о содействии в деле охраны вузов правления обращались и к студентам.

Трудно обойти вниманием фактор ЧК в бытии профессуры того периода. Томская ЧК в начале 1920-х гг. располагалась в здании бывшего Томского окружного суда на Воскресенской горе. Снаружи и внутри, по воспоминаниям В.Д. Кузнецова, оно охранялось устрашающего вида людьми – «мадьярами и латышами». «Через оба плеча, – отмечал профессор, – у них были перекинута пулеметные ленты с патронами, на поясе висели гранаты двух типов и два револьвера... Один вид такой охраны приводил в ужас и говорил, что здесь, в чека, царит смерть». Сохранил в своей памяти профессор Кузнецов и образы их руководителей: «Председателем был молодой, странно жесткий, Берман. Все, даже большевики, его очень боялись. Он самолично расстреливал. В ночь до 150 человек. Его заместитель Бак – такого же типа. Его за окрики, грубость прозвали собакой» [21. С. 141].

Отдавая дань справедливости, отметим, что среди томских профессоров репрессиям после восстановления власти большевиков в городе подверглись в основном те из них, кто занимал высокие посты в белых правительствах Сибири (Н.Я. Новомбергский, П.А. Прокошев и др.). Все же страх перед этими репрессиями жил в сознании томских профессоров, на что косвенно указывают и мемуары Кузнецова. На допросы в ЧК вызывался в том числе и ректор П.М. Богаевский – как свидетель по «делу рабфака». Репутация этого органа носила недвусмысленный характер и всякий раз заставляла помнить о сумрачном здании на горе.

Э.И. Колчинский подчеркивает, что террор и фабрикация дел против представителей академического мира в начале 1920-х гг. преследовали цель «запугать ученых и приучить их не только беспрекословно подчиняться властям, но и с энтузиазмом публично демонстрировать верноподданническую преданность» [23. С. 438]. Развивая эту мысль, отметим, что подчас даже

формальное отсутствие «физических» репрессивных мер было направлено на достижение той же цели. Высшей формой репрессии, эталоном организации «охоты на ведьм» выступают более тонкие, иезуитски выверенные механизмы унижения представителя профессорской корпорации через нанесение урона по фундаментальным опорам классовой идентичности. Мы отказали бы себе в мудрости, если столь заметный отток кадров из томского академического микросоциума на протяжении 1920-х гг. объясняли лишь только провинциальной оторванностью. Одно из ключевых значений здесь имел именно искусственный генезис классовой депрессии, направленной на деформацию оснований в жизни сообщества и его представителей.

Реализовывался этот проект по нескольким траекториям, одна из которых была направлена на религиозный аспект. Мы отказываемся от претенциозного вывода о причастности к религии каждого члена корпорации старой профессуры г. Томска. Многие из ее представителей, несмотря на то, что значительная их часть в Томске были выходцами из духовенства, не являлись верующими людьми. Так, упомянутый Н.И. Березнеговский, по воспоминаниям дочери, был атеистом, «притом абсолютно полным» [15. С. 143]. Со всем тем религия занимала в корпоративном бытии «старого» научного сообщества Томска одно из центральных мест. Символично в этой связи и расположение домового церкви Императорского Томского университета – в самом сердце главного корпуса.

Именно религиозность стала одним из рубежей для экспансии партийной культуры в исследуемый период. 10 октября 1921 г. в правление Томского университета поступило распоряжение об освобождении для губархива помещения «бывшей университетской церкви от церковного имущества». Вскоре из нее были изъяты иконостас, дверь, плащаница, хоругви, иконы, находящиеся в алтаре, – все вещи, имевшие «церковно-религиозное значение» были переданы на хранение профессору А.Д. Григорьеву. Ноты и церковные книги были переданы во «временное пользование» местному кафедральному собору, а религиозная литература – в Главную библиотеку университета. Двери помещения, где находилась ризница, были заколочены [22. Л. 92 об.].

Закономерно, что спустя время, в мае 1922 г., встал вопрос о реквизиции церковного имущества у университета. Характерно и то, что правление приложило усилия для «сохранения за университетом предметов культа» [18. Л. 87 об.–88]. Резонансным стало освещение в прессе процесса 1922 г. над бывшим профессором богословия Томского университета И.Я. Галаховым как последователем «лже-пророков» [1. 1922. 11 мая]. В 1920-е же гг. в подкрестный шар над фронтоном главного корпуса университета был установлен знак серпа и молота.

Религиозность представителей старой профессуры на протяжении всего рассматриваемого периода в глазах апологетов партии победителей стала печатью «врага», автоматически достойной подозрения. Не ли-

шена интереса характеристика профессора-медика Миролюбова, данная проректором по студенческим делам Н.И. Савченко в 1929 г. В.П. Миролюбов происходил из дворянской семьи и сохранил веру на протяжении всей своей жизни. В 1920-е гг. он выполнял обязанности старосты Нового собора в Томске. Для Савченко данное обстоятельство позволило причислить профессора к «типичным представителям своего класса», так и не «не порвавшего с его традициями» [24. Л. 33 об.]. В свете религиозных убеждений в книге инструктора орготдела Сибирского краевого комитета ВКП(б) Н.П. Загорского «Классовая борьба в сибирских вузах» была представлена классовая «чуждость» томских профессоров Миролюбова, Иоганзена, Танцова [25. С. 49–50].

Рассматривая иной симптом классовой депрессии старой профессуры, мы не можем обойти стороной такой аспект, как обращение к «низкой» деятельности, занятие которой немисливо для профессора до-революционной эпохи. Известно, что профессор-математик В.И. Шумилов, семья которого насчитывала 9 человек, в начале 1920-х гг. подрабатывал «в качестве ломового извозчика и перевозчика грузов для кооператива «КУБУ»» (цит. по: [3. С. 139]). В Томске был организован кооператив научных работников. При нем функционировала собственная хлебопекарня, заведовал которой не кто иной, как ученый механик, в прошлом – ректор Томского технологического института, профессор И.И. Бобарыков [26. С. 32–33].

Любопытна и обратная стороны этой тенденции. Вспомним описанный со ссылкой на сообщение «из чека» эпизод из мемуаров В.Д. Кузнецова. Как известно, профессора А.П. Пospelов, П.М. Богаевский, Н.В. Култашев, С.М. Курбатов в 1920-е гг. покинули Томск. По словам Кузнецова, последний, собираясь в экспедицию, «взял с собой 34 ящика с «обмундированием», но «вместо экспедиции уехал в Москву, а вместо оборудования увез с собой свое собственное имущество».

«Эта группа профессоров, – писал Кузнецов, – продала какому-то честному предприятию университетский газовый завод и на вырученные деньги покупала себе осетров, нельму, дичь, масло и т.д. ...Профессор Пospelов получил в течение года 90 ведер спирта ректификата и 180 ведер спирта денатурата. Ректификатор он получил для изготовления фотографических пластинок, а денатурат для мотора, который в течение нескольких лет не действовал и не мог действовать вследствие неисправности. Спирт развозили по деревням и выменивали на продукты, причем денатурат очищали. Профессора Култашев и Курбатов также получали спирт и выменивали его на продукты». Идентичностная деформация находит свое проявление и в столь неприглядных случаях, спровоцированных состоянием острого дефицита. И все же такая стратегия не могла не встретить осуждения в устах коллеги, находившегося в не менее сложных обстоятельствах. «В то время как мы все голодали, эта группа жила прекрасно» [21. С. 151], – вспоминал В.Д. Кузнецов.

Несомненно, падение материального уровня жизненного мира русского профессора является одним из ключевых факторов трансформации, ментальный след которой является предметом нашего исследования. Не лишнее вульгарности и не самых приятных исторических коннотаций понятие «буржуазность», тем не менее может служить нам ключом к одному из отдаленных пространств коллективного сознания профессуры. Ведь именно капиталистический фон во многом определил патриархальный бытовой дискурс ее представителей. То, что Л.Н. Березнеговская, описывая до-революционных русских профессоров, назвала «стремлением к накопительству» [15. С. 148], для представителей корпорации было важным жизненным маркером, игнорируя который, мы рискуем потерять из виду больше, чем увидеть. Поняв это, мы без труда представим всю глубину психологического дискомфорта профессора, вынужденного просить то, что ранее было органичной привилегией. Кстати, и в подборе классового компромата при партийной характеристике профессуры аспект личного обогащения не мог не найти своего яркого выражения. Так, например, описывая профессора-медика Н.И. Горизонтова, члены университетской партячейки подчеркивали, что частная практика для него – «тот идол, которому он поклоняется». «Это рвач направо и налево, – отмечали о нем возмущенные партийцы. – Кто его не знает в Томске?» И далее: «От частной практики он ожирел, погряз в инертность и, невзирая на сравнительную свою молодость, не способен творчески развернуться» [4. Л. 90 об.]. «Профессор без кафедры» А.Н. Зимин был удостоен клише «свившего прочное гнездо» «за счет частной практики» «под вывеской пролетарских вузов». К тому же «антисемит», «монархист» и «религиозный». Клеймо «ожиревшего буйвола» без стеснения поставили и профессору-хирургу А.А. Опкину. И связано это была с тем, что последний, как подчеркивалось в характеристике, «предпочитал огребать деньги у себя в квартире, как бы в домашней обстановке, с бедных и страдающих пациентов» [Там же. Л. 91].

Элиминация патриархальной состоятельности имела своим следствием унижительное положение просителей, которое без преувеличения коснулось почти всех томских профессоров. Просил профессор Богаевский – на ремонт собственной квартиры, «что было необходимо для создания условий, способствующих работе», и «об отпуске ему дров»; просил профессор Кулябко – «пересмотреть sobезные списки», а также «разрешение приобрести на вольном рынке» халаты и мануфактуры для служащих физиологической лаборатории; просил профессор Саввин – о «предоставлении казенной квартиры в одном из зданий университета»; просил профессор Нагнибеда – о предоставлении «неполученного своевременно пайка».

Просили на жизнь и просили на смерть: семьи умерших профессоров подчас не могли найти денег на похороны. И на дальнейшую жизнь – без отца и мужа. Так, семья «умершего при исполнении служебного

долга от сыпного тифа» профессора Калачникова пода-ла на имя Д.К. Чудинова прошение о пособии.

25 мая 1922 г., почтив память усопшего вставанием, правление университета выдало семье покойного профессора В.Л. Некрасова «содержание на март месяц и пособие в 10 миллионов на погребение» [18. Л. 92]. Отметим, что усиливало эти психологические удары то, что просьбы о жизненно необходимом удовлетворялись далеко не всегда.

Постоянными просителями стали заведующие подразделениями университета: профессора Березнеговский (госпитальные клиники), Лобанов (факультетские клиники), заведующие кабинетами, деканы факультетов. В условиях фронтальной национализации главным адресатом прошения становилось, конечно же, государство – местные и центральные органы, названия которых одновременно пугали и смешили звучанием бюрократического новояза: наркомпрос, главпрофобр, главпрофсовет, сибнаробраз, губфинотдел и т.д. «Оказать авторитетную поддержку к сохранению академического пайка» одно время правление университета просило и академика С.Ф. Ольденбурга [22. Л. 134]. Требовалось немало моральных усилий, чтобы в сложившейся ситуации не почувствовать свою абсолютную зависимость от той власти, которая провозгласила старую профессуру «отживающим элементом».

Нищета поселилась в пределах университетской рощи, заставляя представителей научного микросоциума в целом стоять «с протянутой рукой». Порой в буквальном смысле. Так, 24 декабря 1921 г. профессор Сапожников ходатайствовал перед правлением университета «об оказании помощи продовольствием служащим Ботанического сада», так как «ввиду их крайней необеспеченности» они вынуждены были «по очереди собирать по городу милостыню» [Там же. Л. 133 об.–134].

Особенно печально выглядит, например, представление правления Томского университета от 21 октября 1922 г. «об отпуске обуви или кожи из расчета на 50 чел., починочного материала – на 100 человек, пимов до 50 пар, мануфактуры до 500 арш. и теплого материала до 200 арш.» [18. Л. 103]. А еще: просьбы о дополнительных пайках, об увеличении тарифных ставок для зарплаты профессоров, преподавателей и служащих, о ремонтных материалах и т.д.

Прошения пропитывали бытие профессоров и академической корпорации вообще. Безусловно, имеют основание возражения, указывающие на то, что подобная ситуация стала результатом объективного социального катаклизма. Однако с высоты исторического взгляда трудно не заметить, сколь удачным орудием в руках власти стали обнищание и полная материальная зависимость классовых антагонистов.

Подчеркнем, что подобная конфигурация академической жизни налагала особую ответственность на ректоров вузов. Ловкость и возможность сохранить идентичностное ядро в момент прошения стали необходимыми умениями для руководителей вузов. Близким к

эталону в этом смысле оказался ректор Томского технологического института (с 1925 г. – Сибирского технологического института им. Ф.Э. Дзержинского) профессор Н.В. Гутовский. «Это был особый тип ректора, – вспоминал о нем Чудинов. – Я бы, с его разрешения, назвал бы его ректором-хищником». Н.В. Гутовский, по словам того же советского функционера, своей характерной внешностью напоминал Мефистофеля. «Это впечатление портило только пенсне, Мефистофель – в пенсне!» – заметил Чудинов. Далее он писал: «Всех людей, с ним встречавшихся, он, мне кажется, делил на полезных институту и бесполезных. При встрече с тем или другим лицом он, наверное, прежде всего, спрашивал: что можно от него получить? Он все время думал: где, что и как получить. В этом деле он проявлял поразительную изобретательность и смелость, в деле изыскания средств он иногда достигал почти невероятных успехов. Я помню, как он с торжеством заявлял о том, что ему удалось добиться приема у председателя ГПУ И.П. Павлуновского и получить несколько миллиардов рублей денег. Павлуновский слыл за грозного чекиста, поэтому посещение Гутовским квартиры И.П. расценивалось им как довольно смелый шаг. В вагоне, когда мы возвращались с ректорского совещания, я однажды встретил своего приятеля, работавшего в каком-то тресте. Гутовский немедленно попросил разрешения вмешаться в разговор и потом, как бы неожиданно сказал: “Ах да. Я совсем забыл, что вы можете оказать нам помощь” – и дальше шло изложение ходатайства. Когда он ехал в Новониколаевск или в Москву, в его портфеле и карманах было бесчисленное количество всякого рода просьб» [26. С. 35–36].

Впрочем, подобная репутация Гутовского не помешала в 1924 г. члену правления института Глаголеву в докладной записке на имя завагитпропа губкома связать уход множества профессоров из вуза с тем, что «правление к обеспечению профессоров и преподавательского состава не принимало решительных мер» [27. Л. 15].

Переложение вины за обнищание характерно проявилось и в воспоминаниях Чудинова, который «менее поворотливого» ректора В.Н. Саввина квалифицировал как человека, переносившего «тяжелую материальную обстановку высшего учебного заведения» в «неизбежное следствие сложившихся условий и поэтому при всяком удобном случае» старавшегося «ассоциировать материальную обстановку вуза с общими условиями развития хозяйства» [26. С. 36].

Обратимся к той части повседневности профессоров, которая может оправдать, вероятно, излишне провокационное название настоящей статьи и в то же время стать отражением кульминации нашей истории. Мы возвращаемся к фигуре М.Г. Курлова – профессора, почитаемого сообществом и в то же время избранного в качестве наиболее крупной жертвы в «охоте на ведьм».

В год большого чествования М.Г. Курлова, 1928-м, 4 октября – в газете «Труд» и 5 октября – в «Учитель-

ской газете» был опубликован фельетон «Политическая беспечность». В нем, со ссылкой на более чем сомнительный источник в лице некоего Березовского, профессор Курлов обвинялся в том, что в период революционных событий 1905 г. участвовал в сожжении здания управления Томской железной дорогой и был в числе тех, кто сообщил полиции о беспорядках в университете [2. Л. 43 об.].

М.Г. Курлов действительно был привержен консервативным политическим взглядам, как, впрочем, и многие его коллеги из числа профессоров-медиков того периода (В.Н. Саввин, например, входил в партию кадетов, а А.А. Кулябко в 1906 г. – в состав Томского бюро «Союза 17 октября» и т.д.). Но означает ли это реакционность и мракобесие, и достоин ли был профессор столь грубой характеристики, данной им анонимным партийцем: «Общественно-политическая физиономия Курлова всегда была явно монархической» [4. Л. 91]? Отметим лишь то, что М.Г. Курлов в годы Первой русской революции стал первым выборным ректором Томского университета [10. С. 138].

Для русской профессуры наступили времена, когда на подобные фельетоны необходимо стало отвечать и искать перед лицом представителей новой власти оправдания. «Эта информация, – заявлял М.Г. Курлов ректору университета, – не соответствует действительности... у меня вообще не было брата, а только две сестры ...Вообще я не состоял в “Союзе русского народа”, как ни в какой-либо другой политической партии ...Местные организации, как окружные, так и краевые, почтили меня на моих юбилеях такими приветственными словами, какие не выпадали ни на чью другую долю». Не остановился профессор и перед заверением в «полной лояльности своих взглядов» относительно новой власти [2. Л. 44 об.].

Это был момент, когда корпорация проявляет свою солидарность, а ее члены получают шанс продемонстрировать качества, достойные почтения. На стороне профессора Курлова выступили доктор Я.И. Бейгель, который во время в 1905 г. был студентом медицинского факультета Императорского Томского университета и учеником Курлова. Он свидетельствовал, что профессор М.Г. Курлов «был глубоко потрясен виденным» – революционными событиями, сопровождавшимися жертвами и насилием. «Помню, – вспоминал Бейгель, – что, когда я на другой день после пожара зашел в кабинет профессора Курлова и сказал ему о числе убитых и раненых за одну ночь, он схватил себя за голову и произнес врезавшиеся мне в память, как и другие мельчайшие подробности незабываемого времени, два слова: “Сволочи, сволочи...”» [Там же. Л. 47].

Профессор Зимин, выступив с заявлением на имя ректора, подчеркивал, что «Курлов не только не был организатором сожжения или идейным вдохновителем, но он ездил к губернатору, требуя защиты студентов, подвергавшихся избиению, сам в больнице принимал участие в оказании помощи пострадавшим». В защиту

выступили и врач Л.И. Рубинштейн, бывший студент университета, и профессор С.В. Лобанов.

«Охота» между тем продолжалась. В скором времени на страницах московских газет были напечатаны слова профессора А.Я. Вышинского по поводу «правовой опасности в вузах». И как пример этого было дано указание на профессора Курлова, брата шефа жандармов, монархиста, члена «Союза русского народа», активного контрреволюционера 1905 г. [2. Л. 54].

Вслед за моральным уроном пришло время урона осязаемого. В том же году ЦКпрос на основании газетной публикации отказал в ходатайстве о назначении персональной пенсии профессору Курлову. Любопытно то, что с просьбой в Наркомпрос пересмотреть решение и с указанием на него как на «акт несправедливости» выступили не только профессора, но и советские органы: Сибкрайно и Сибкрайздрав [28].

И здесь мы соприкасаемся с важной темой, касающейся главного контрагента русской профессуры в период трансформации. Обратимся к мемуарам того же В.Д. Кузнецова. Профессор вспоминал, как однажды вечером, в первые годы советской власти, к нему пришла женщина, которая «отрекомендовалась членом реввоенсовета 5 (пятой армии)». Совет этот тогда был высшей властью в Сибири. При всем «настороженном» отношении между научными работниками и новой властью разговор между молодым ученым и незнакомкой затянулся до полуночи. Она пришла «узнать нужды научных работников и привлечь их на сторону» новой власти. «Когда разговор был кончен, – писал Кузнецов, – женщина подошла к роялю, открыла крышку и взяла несколько аккордов. Хороший рояль, сказала она... Она начала без нот с большим воодушевлением играть сонату Аппассионату Бетховена, потом сыграла Лунную сонату Бетховена и ряд других классических произведений. В дни голода, в дни разрухи зазвучала прекрасная музыка» [21. Л. 144].

Со звуками этих мелодий, быть может, исчез шанс на своевременный компромисс между мирами прошлого и будущего, на историческую интеграцию, которая осталась несовершенной. Стремясь отдать должное принципу объективности, отметим главное: советская власть, особенно в ранние периоды, не была величиной монолитной. Сохранил по себе добрую память и Д.К. Чудинов. В бытность свою современники отмечали «смягчающее» влияние на него томских профессоров, в частности В.В. Сапожникова и В.Н. Саввина [3. С. 158], что, вероятно, могло способствовать более «милосердной» линии делового поведения чиновника. И в рядах партии, ставшей всесильной, находились люди, способные на понимание иного мировоззрения и иной культуры.

Были, однако, и другие силы. Известно, что история с М.Г. Курловым стала рубежной для многих старых профессоров: в те дни заговорили о своем желании покинуть город профессора Омороков, Боголепов, Неболюбов, Фукс, Мыш. Последнему приписывали

слова: «Прослужишь целый ряд лет добросовестно, а потом выбросят и даже пенсии не дадут» [28. С. 121]. Вполне закономерно, что столь грубые кампании составляли еще больше ненависть.

Листов с «компрометирующими» данными на профессоров становилось все больше. Метками «выходца из духовенства» и «религиозности» награждались профессора П.В. Бутягин, Н.И. Горизонтов, И.В. Геблер и др. В партийных классификациях мы встречаем такие сочетания, как «типичный буржуазный профессор» (С.В. Лебедев) или просто «буржуазный профессор» (И.А. Соколов), «совершенная беспринципность» (Н.В. Танцов), «в политическом отношении типичный мещанин» (Г.В. Хонин) [29. С. 251–252]. Относительно упомянутого уже профессора Л.И. Оморокова отмечалось, что к партии он «относится скрыто враждебно» [30. Л. 132 об.]. Последнему в вину также ставилось его кадетское прошлое. О профессоре А.А. Опокине отзывались как о «политически невежественной, прогнившей стереотипной обывательской фигуре» [4. Л. 91 об.].

Профессор Н.И. Горизонтов удостоился следующей политической оценки: «В семейном кругу томского мещанства проявляет себя юдофобом и “шипунном” монархистом». К монархистам был причислен и П.В. Бутягин. Впрочем, отмечалось, что «открыто он этих убеждений не обнаруживает». Не самую лестную аттестацию подчас получали и профессиональные, научные и педагогические качества профессоров. Отметим между прочим, что, как отчасти видно из уже приведенных цитат, данные характеристики изобилуют грамматическими ошибками.

Трудно признать подобные документы простой бумажной формальностью, не отражавшей реальное положение дел. Бесспорно, что своей тональностью и лексикой они приоткрывают для нас ауру того мира, в котором вынуждена была существовать недавняя интеллектуальная элита страны. От иных профессоров нередко предлагалось «избавиться во что бы то ни стало как от ученых суррогатов» [Там же. Л. 90 об.].

Резонанс в конце 1920-х гг. получили организованные в прессе кампании против профессоров И.Н. Бутякова, «заблудившегося в науке» [1. 1929. 13 янв.], и Вит.А. Хахалова. Последнему было предъявлено немало обвинений, среди которых особенно выделялось приближение «к себе антисоветски настроенных студентов». Аналогичная претензия высказывалась и в адрес профессора И.И. Котюкова («имеет любимчиков – классово нам чуждых студентов», – отмечалось в очередной характеристике [29. С. 250]). Известно, что борьба за умы студенчества проходила на одной из основных арен в описываемом противостоянии. Отмечается, что Вит.А. Хахалов добровольно покинул университет, предупредив многочисленные попытки партийных структур по его переизбранию и – «не выдержав травли» [9. Л. 94].

В литературе неоднократно освещалась история «борьбы» с обществом «Кенгуру» [3. С. 147; 9. Л. 80–

81, 92; 31. С. 154–155]. Опубликованный в «Красном знамени» фельетон о нем спровоцировал очередной критический всплеск ментальной повседневности старой профессуры. С наиболее острым заявлением тогда выступил В.Д. Кузнецов. «Результат этой кампании и теперь еще не ликвидирован, – писал он в ответном на фельетон письме, которое так и не было опубликовано в “Красном знамени”, – в особенности в технологическом институте, из которого ушли многие крупные ученые». «Может быть, и теперь редакции угодно, чтобы, по крайней мере, некоторые из томских ученых “эмигрировали” из этого города?» [32. С. 73] – задавался вопросом Кузнецов. Ссылка на «эмиграцию» в данном случае де-факто перекликалась со словами красного профессора Ревердатто, назвавшего общество «организацией внутренней эмиграции» [33. С. 67]. Профессор Саввин в связи с нападками на общество досуга ученых произнес слова: «Нельзя к научным работникам относиться как к комсомольцам» [34. Л. 4 об.].

«Эмиграция» профессоров из города действительно стала одним из последствий масштабной «охоты». Одним из результатов ее стали и трагические аспекты рассмотренной истории. Речь идет о болезнях и смерти. Дело в том, что на протяжении всех 1920-х гг. методично повторяющимся явлением стали заявления профессоров о болезнях. На пошатнувшееся здоровье сетовали профессор Григорьев, Богаевский, тот же Кузнецов и др.

Нельзя обойти стороной и то отношение, которое подчас высказывалось апологетами нового мира в адрес больных профессоров, отдавших годы на служение вузам и стране. Вспомним того же профессора В.Н. Саввина, которого партийные «товарищи» в отчетах называли «матерым лидером» «хорошо сколоченной в фракционный кулак» «реакционно-консервативной» профессуры [30. Л. 8]. Профессор во второй половине 1920-х гг. страдал от целого ряда заболеваний (в одном из отчетных документов среди них указывались диабет, парез лицевого нерва, ослабление памяти и концентрации). Секретарь партиячейки ТГУ, член правления вуза по студенческим делам Батищев в секретном отчете в Главпрофобр с видимой характерной интонацией отмечал: «Когда был окончен обычный курс лечения на оз. Шира, профессор Саввин решил во что бы то ни стало немедленно возвратиться в город Томск... врачи, учитывая серьезность его положения, отговорили его от этой мысли, причем в виде крайней меры предписали ему постельный режим и лишили временно верхнего платья. Несмотря на все это его однажды встретили в нижнем белье на территории курорта». Далее секретарь подчеркнул, что «он» (профессор), «по-видимому, не хочет в настоящее время думать о своем уходе, хотя и признает положение безотрадным» [Там же. Л. 114].

Для многих очередная болезнь имела роковой конец. Особенно характерной в контексте исследуемой проблематики видится нам судьба профессора В.Л. Некрасова. 4 мая 1922 г. он впервые обратился в

правление университета с просьбой о предоставлении ему возможности, «за неимением средств для этого», «бесплатного курортного лечения» «вследствие катара верхушек левого легкого и туберкулезного процесса кишок». Вскоре после этого консилиумом профессоров М.Г. Курлова, В.М. Мыша и В.Н. Саввина была назначена серьезная операция. «Если после нее я останусь жив, – обращался тогда к правлению Некрасов, – мне нужно будет, согласно заключениям М.Г. Курлова, поселиться на лето в одной из ближайших к Томску деревень с сосновым лесом, ехать на далекий курорт ввиду слабости будет трудно» [18. Л. 88 об.]. Правление университета тогда, не имея средств, ходатайствовало перед Д.К. Чудиновым от отпуске 150 млн руб. в пособие профессору. 22 мая 1922 г., о чем уже кратко упоминалось, В.Л. Некрасов умер в лазарете.

В 1920-е гг. томский академический микросоциум потерял немало профессоров, в том числе не самых возрастных. В январе 1924 г. простудившийся осенью предыдущего года умер в возрасте 63 лет от рака легких профессор В.В. Сапожников. 18 апреля 1926 г., перенеся двумя годами ранее тяжелую операцию в связи с гнойным холециститом и пережив вторичную операцию по удалению грыжи (осложнение от операции предыдущей), в Ленинграде от перитонита скончался Н.И. Березнеговский. Ему было 50 лет.

Безусловно, спорным представится утверждение о психосоматических, уходящих в ту среду, которая сложилась в сообществе и стране, корнях этого явле-

ния. Более очевидным для нас станет то, что непрожитые годы многих профессоров стали печальным следствием протекавших процессов.

Часто болел в 1920-х гг. и профессор М.Г. Курлов. О состоянии его здоровья печатала заметки газета «Красная знамя». Профессор, почувствовав упадок сил, покинул университет в 1929 г. Спустя три года он умер от атеросклероза. Его единственный сын Вячеслав, работавший ученым секретарем и заведующим физиоцентром Института физических методов лечения, в 1938 г. был расстрелян [10. С. 142].

В рассмотренной истории «охота на ведьм» предстала перед нами в неклассическом виде, во многих аспектах напоминающем типологически схожие процессы в США эпохи маккартизма.

В томском научном сообществе 1920-х гг. репрессия физическая была заменена репрессией ментальной, когда условия среды и бытия были организованы в направлении подавления фундаментальных аспектов классовой идентичности «старого» русского профессора: религиозной составляющей; патриархального стиля жизни и соответствующего ему дискурса неприкосновенности, безопасности и материальной независимости; роли морального и интеллектуального авторитета в обществе. Мы стремились воссоздать тот мир, который, при молчании его обитателей, оказался погруженным в унижение и депрессию. Такова картина ментального бытия русской научной интеллигенции в социальном зеркале «нового дивного мира».

ЛИТЕРАТУРА

1. Красное знамя. Томск.
2. Центр документации новейшей истории Томской области (ЦДНИ ТО). Ф. 76. Оп. 1. Д. 737.
3. Интеллигенция Сибири в первой трети XX века: статус и корпоративные ценности. Новосибирск : Сова, 2007. 310 с.
4. Государственный архив Новосибирской области. Ф. 61. Оп. 1. Д. Р-1083.
5. Красильников С.А. Социально-политическое развитие интеллигенции Сибири в 1917 – середине 1930-х гг. : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Новосибирск, 1995. 44 с.
6. Соскин В. Л. Ученые Сибири в фокусе дискриминации (20-е годы) // Дискриминация интеллигенции в послереволюционной Сибири (1920–1930 гг.). Новосибирск, 1994.
7. Александров Д.А. Историческая антропология науки в России // Вопросы истории естествознания и техники (ВИЕТ). 1994. № 4. С. 3–22.
8. Литвинов А.В. Образование и наука в Томском государственном университете в 20–30-е гг. XX в. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. 156 с.
9. Литвинов А.В. Профессорско-преподавательский корпус Томского университета (20–30-е годы XX века) : дис. ... канд. ист. наук. Томск, 2002. 237 л.
10. Профессора Томского университета. Биографический словарь. Вып. I: 1888–1917 / отв. ред. С.Ф. Фоминых. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1996. 288 с.
11. Профессора Томского университета: Биографический словарь / С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов, Л.Л. Берцун, А.В. Литвинов. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1998. Т. 2. 544 с.
12. Колчинский Э.И. Советизация науки в годы НЭПа (1922–1927): послереволюционный кризис и поиск форм сотрудничества // Наука и кризисы: историко-сравнительные очерки / сост. Э.И. Колчинский. СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. С. 440–549.
13. Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 39.
14. Малиновский И.А. Маруся и дети. Воспоминания // Императорский Томский университет в воспоминаниях современников / сост. С.Ф. Фоминых (отв. редактор), С.А. Некрылов, М.В. Грибовский, А.В. Литвинов, С.А. Меркулов, И.А. Дунбинский. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2014. С. 286–340.
15. Березнеговская Л.Н. Из моих воспоминаний. Томск : Чародей, 2001. 208 с.
16. Сибирская жизнь. Газета политическая, литературная и экономическая. Томск.
17. «Докладная записка коллегии по управлению вузами г. Томска» в отдел высших учебных заведений Наркомпроса, Главпрофобр, Сибнаробраз и Сибпрофбюро о состоянии высшей школы // Власть и интеллигенция в сибирской провинции. Конец 1919–1925 гг. / сост. С.А. Красильников, Т.Н. Осташко, Л.И. Пыстина. Новосибирск : ЭКОР, 1996. С. 45–56.
18. ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 89.
19. Из резолюции студенческой конференции вузов г. Томска об идеологической борьбе в вузах // Из истории земли Томской: Народ и власть. 1925–1929 / В.И. Марков, Б.П. Тренин. Томск, 2000. С. 89–93.
20. Фоминых С.Ф., Степнов А.О. М.А. Рейснер и провинциальный аспект академических конфликтов в сообществе Императорского Томского университета // Bylye Gody. 2018. Vol. 48, is. 2. Р. 804–816.
21. Кузнецов В.Д. Мой путь в науку // Музей истории ТГУ. 268 л.
22. ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 69.

23. Колчинский Э.И. Наука и Гражданская война в России // Наука и кризисы: историко-сравнительные очерки / сост. Э.И. Колчинский. СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. С. 357–439.
24. ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 2. Д. 15.
25. Загорский Н.П. Классовая борьба в сибирских вузах. Новосибирск : Сибкрайиздат, 1929. 103 с.
26. Чудинов Д.К. Из недавнего прошлого // Просвещение Сибири. 1927. № 10. С. 25–38.
27. ЦДНИ ТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 598.
28. Ходатайство Сибкрайно, Сибкрайздрава, ректора ТГУ и др. перед Наркомпросом о незаконном лишении персональной пенсии и оговоре профессора ТГУ М.Г. Курлова // Из истории земли Томской: Народ и власть. 1925–1929 / В.И. Марков, Б.П. Тренин. Томск, 2000. С. 120–121.
29. Характеристика профессорско-преподавательского состава химического факультета СТИ // Из истории земли Томской: Народ и власть. 1925–1929 / В.И. Марков, Б.П. Тренин. Томск, 2000. С. 250–253.
30. ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 3. Д. 1.
31. Фоминых С.Ф., Степнов А.О., Литвинов А.В. Дом ученых в жизни научного сообщества г. Томска (1926–1941 гг.) // Вестник Томского государственного университета. 2016, № 408. С. 153–161.
32. Открытое письмо профессора В.Д. Кузнецова редактору газеты «Красное знамя» по поводу фельетона «Смердящее» // Из истории земли Томской: Народ и власть. 1925–1929 / В.И. Марков, Б.П. Тренин. Томск, 2000. С. 71–74.
33. Из сообщения информатора Томского окротдела ОГПУ о деятельности клуба «Кенгуру» при ТГУ // Из истории земли Томской: Народ и власть. 1925–1929 / В.И. Марков, Б.П. Тренин. Томск, 2000. С. 65–69.
34. ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 330.

Stepnov Aleksey O. National Research Tomsk State University (Tomsk, Russia). E-mail: ASAOM@yandex.ru

“WITCH-HUNT” IN THE TOMSK ACADEMIC MICROSOCIETY: TO THE PROBLEM OF THE MENTAL EXISTENCE OF THE RUSSIAN PROFESSORS UNDER CONDITIONS OF DEFORMATION OF CLASS IDENTITY DURING THE 1920S.

Key words: scientific community; discourse of everyday life; Russian professorship; class identity.

In the article the process of “mutation” of the lifeworld of the “old” professors in the Tomsk academic microcommunity during the 1920’s – period of the implementation of the “red dystopia” is considered on the materials of archival documentation, periodicals, sources of personal origin. It is emphasized that the change in the construction of everyday life included a sharp break with the corporate imperatives formed in the pre-revolutionary era. We mean a change in the system of relations between professor and student, which was associated with the proletarianization of higher education; impoverishment; transformation of ideas about private space and connections with the world of things; marginalization of the previously elite Corporation of professors. The acute shortage of food, clothing and footwear, items necessary for research activities (paper, ink, books), the severance of scientific communication with the central cities of the country and abroad have become an instrument of deformation of the collective psychology of professors. It is noted that a new feature of being in Tomsk University and Tomsk (since 1925 – Siberian) Institute of technology became looting and robbery, as well as, in the early 1920s, requisition and resettle private apartments. This determined the process of devaluation of such concepts as private space, security of property and life. The damage was done on the religious basis, which under the old regime occupied a prominent place in being of the Corporation. This was manifested in the special attention of the party structures to religious professors, in the adaptation of the former premises of the Home Church of Tomsk University under the provincial archive in 1921, and then in the requisition of Church property. It is important that in the conditions of falling living standards and total nationalization professors assumed the role of petitioners. The main addressee of petitions became local and central authorities and the party. Hoarding and material viability as elements of the everyday life of the “old professorship” became signs of “class” hostility. This was reflected in the party characteristics of Tomsk professors N.I. Gorizontov, A.A. Opokin, A.N. Zimin, etc. The culmination of “witch-hunts” were attempts to deprive the oldest professors of the city of personal pensions and demands “to get rid of them as scientists surrogates”. It is concluded that the radicalization of the lifeworld has become a method of “mental repression” aimed at the fundamental basis of the community of the old professors: the religious component, patriarchal life style, the discourse of security and material independence, the role of moral and intellectual authority in society. This method enter the mental being of the community into a state of depression, which was no less effective than the “physical” repression.

REFERENCES

1. *Krasnoe znamya*. (n.d.)
2. Tomsk Regional Centre of the Contemporary History Documentation (TSDNI TO). Fund 76. List 1. File 737.
3. Krasilnikov, S.A., Pystina, L.I., Us, L.B. & Ushakova, S.N. (2007) *Intelligentsiya Sibiri v pervoy treti XX veka: status i korporativnye tsennosti* [Siberian intelligentsia in the first third of the 20th century: status and corporate values]. Novosibirsk: Sova.
4. The State Archive of Novosibirsk Region. Fund 61. List 1. File R-1083.
5. Krasilnikov, S.A. (1995) *Sotsial'no-politicheskoe razvitiye intelligentsii Sibiri v 1917 – seredine 1930-kh gg.* [Socio-political development of Siberian intelligentsia in 1917 – mid 1930s]. Abstract of History Dr. Diss. Novosibirsk.
6. Soskin, V.L. (1994) *Uchenye Sibiri v fokuse diskriminatsii (20-e gody)* [Scientists of Siberia in the focus of discrimination (the 1920s)]. In: Soskin, V.L. et al. *Diskriminatsiya intelligentsii v poslerevolutsionnoy Sibiri (1920–1930 gg.)* [Discrimination of the intelligentsia in post-revolutionary Siberia (1920–1930)]. Novosibirsk: SB RAS.
7. Aleksandrov, D.A. (1994) *Istoricheskaya antropologiya nauki v Rossii* [Historical anthropology of science in Russia]. *Voprosy istorii estestvoznaniya i tekhniki (VIET)*. 4. pp. 3–22.
8. Litvinov, A.V. (2006) *Obrazovanie i nauka v Tomskom gosudarstvennom universitete v 20–30-e gg. XX v.* [Education and science at Tomsk State University in the 1920–30s]. Tomsk: Tomsk State University.
9. Litvinov, A.V. (2002) *Professorsko-prepodavatel'skiy korpus Tomskogo universiteta (20–30-e gody XX veka)* [Teaching Corps of Tomsk University (the 1920–1930s)]. History Cand. Diss. Tomsk.
10. Fominykh, S.F. (ed.) (1996) *Professora Tomskogo universiteta. Biograficheskiy slovar'* [Professors of Tomsk University. A Biographical Dictionary]. Issue 1. Tomsk: Tomsk State University.
11. Fominykh, S.F., Nekrylov, S.A., Bertsun, L.L. & Litvinov, A.V. (1998) *Professora Tomskogo universiteta: Biograficheskiy slovar'* [Professors of Tomsk University. A Biographical Dictionary]. Vol. 2. Tomsk: Tomsk State University.
12. Kolchinskiy, E.I. (2003) *Sovetizatsiya nauki v gody NEPa (1922–1927): poslerevolutsionnyy krizis i poisk form sotrudnichestva* [Sovietization of science in the years of the NEP (1922–1927): the post-revolutionary crisis and the search for forms of cooperation]. In: Kolchinskiy, E.I. (ed.) *Nauka i krizisy: istoriko-sravnitel'nye ocherki* [Science and Crises: Historical and Comparative Essays]. St. Petersburg: Dmitriy Bulanin. pp. 440–549.
13. The State Archive of Tomsk Region (GATO). Fund R-815. List 1. File 39.

14. Malinovskiy, I.A. (2014) Marusya i deti. Vospominaniya [Maroussia and children. Memories]. In: Fominykh, S.F. (ed.) *Imperatorskiy Tomskiy universitet v vospominaniyakh sovremennikov* [Imperial Tomsk University in the Memoirs of Contemporaries]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 286–340.
15. Bereznegovskaya, L.N. (2001) *Iz moikh vospominaniy* [From my Memories]. Tomsk: Charodey.
16. *Sibirskaya zhizn'*. (n.d.).
17. University Management Board. (1996) Dokladnaya zapiska kollegii po upravleniyu vuzami g. Tomsk v otel vysshikh uchebnykh zavedeniy Narkomprosa, Glavprofobr, Sibnarobraz i Sibprofbyuro o sostoyanii vysshey shkoly [Report of the University Management Board in Tomsk to the Department of Higher Educational Institutions of the People's Commissariat of Education, Glavprofobr, Sibnarabraz and Sibpromofyuro about the state of higher education]. In: Krasilnikov, S.A., Ostashko, T.N. & Pystina, L.I. *Vlast' i intelligentsiya v sibirskoy provintsii. Konets 1919–1925 gg.* [Power and Intelligentsia in the Siberian Province. The End of 1919–1925]. Novosibirsk: EKOR. pp. 45–56.
18. The State Archive of Tomsk Region (GATO). Fund R-815. List 1. File 89.
19. Markov, V.I. & Trenin, B.P. (2000a) *Iz istorii zemli Tomskoy: Narod i vlast'. 1925–1929* [From the History of Tomsk: People and Power. 1925–1929]. Tomsk: [s.n.]. pp. 89–93.
20. Fominykh, S.F. & Stepnov, A.O. (2018) M.A. Reisner and the Provincial Aspect of Academic Conflicts in the Community of the Imperial Tomsk University. *Bylye Gody*. 48(2). pp. 804–816. (In Russian). DOI: 10.13187/bg.2018.2.804
21. Kuznetsov, V.D. (1965) *Moy put' v nauku* [My path to science]. Tomsk: [s.n.].
22. The State Archive of Tomsk Region (GATO). Fund R-815. List 1. File 69.
23. Kolchinskiy, E.I. (2003) Nauka i Grazhdanskaya voyna v Rossii [Science and the Civil War in Russia]. In: Kolchinskiy, E.I. (ed.) *Nauka i krizisy: istoriko-sravnitel'nye ocherki* [Science and Crises: Historical and Comparative Essays]. St. Petersburg: Dmitriy Bulanin. pp. 357–439.
24. Tomsk Regional Centre of the Contemporary History Documentation (TSDNI TO). Fund 115. List 2. File 15.
25. Zagorskiy, N.P. (1929) *Klassovaya bor'ba v sibirskikh vuzakh* [Class Struggle in Siberian Universities]. Novosibirsk: Sibkrayizdat.
26. Chudinov, D.K. (1927) *Iz nedavnego proshlogo* [From the recent past]. *Prosveshchenie Sibiri*. 10. pp. 25–38.
27. Tomsk Regional Centre of the Contemporary History Documentation (TSDNI TO). Fund 1. List 1. File 598.
28. Markov, V.I. & Trenin, B.P. (2000b) *Iz istorii zemli Tomskoy: Narod i vlast'. 1925–1929* [From the History of Tomsk: People and Power. 1925–1929]. Tomsk: [s.n.]. pp. 120–121.
29. Markov, V.I. & Trenin, B.P. (2000c) *Iz istorii zemli Tomskoy: Narod i vlast'. 1925–1929* [From the History of Tomsk: People and Power. 1925–1929]. Tomsk: [s.n.]. pp. 250–253.
30. Tomsk Regional Centre of the Contemporary History Documentation (TSDNI TO). Fund 115. List 3. File 1.
31. Fominykh, S.F., Stepnov, A.O. & Litvinov, A.V. (2016) The House of Scientists in the life of the academic community of Tomsk (1926–1941). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 408. pp. 153–161. (In Russian).
32. Kuznetsov, V.D. (2000) Otkrytoe pis'mo professora V.D. Kuznetsova redaktoru gazety “Krasnoe znamya” po povodu fel'etona “Smerdyashchee” [An open letter from Professor V.D. Kuznetsov to the editor of the newspaper “Krasnoe Znamya” about the feuilton “Smothering”]. In: Markov, V.I. & Trenin, B.P. (2000c) *Iz istorii zemli Tomskoy: Narod i vlast'. 1925–1929* [From the History of Tomsk: People and Power. 1925–1929]. Tomsk: [s.n.]. pp. 71–74.
33. Markov, V.I. & Trenin, B.P. (2000d) *Iz istorii zemli Tomskoy: Narod i vlast'. 1925–1929* [From the History of Tomsk: People and Power. 1925–1929]. Tomsk: [s.n.]. pp. 65–69.
34. Tomsk Regional Centre of the Contemporary History Documentation (TSDNI TO). Fund 76. List 1. File 330.